



## М. ПАЛЕОЛОГ

### <«Ничего, кроме утопии, комедиантства и самовлюбленности!»>

*Суббота, 17 марта.*

Погода сегодня утром мрачная. Под большими темными и тяжелыми облаками падает снег такими частыми хлопьями и так медленно, что я не различаю больше парашюта, окаймляющего в двадцати шагах от моих окон обледенелое русло Невы: можно подумать, что сейчас худшие дни зимы. Унылость пейзажа и враждебность природы хорошо гармонируют со зловецей картиной событий.

Вот, по словам одного из присутствовавших, подробности совещания, в результате которого великий князь Михаил Александрович подписал вчера свое временное отречение.

Собрались в десять часов утра в доме князя Павла Путятина<sup>1</sup>, № 12, по Миллионной.

Кроме великого князя и его секретаря Матвеева, присутствовали: князь Львов, Родзянко, Милюков, Некрасов, Керенский, Набоков, Шингарев и барон Нольде<sup>2</sup>; к ним присоединились около половины десятого Гучков и Шульгин, прямо прибывшие из Пскова.

Лишь только открылось совещание, Гучков и Милюков смело заявили, что Михаил Александрович не имеет права уклоняться от ответственности верховной власти.

Родзянко, Некрасов и Керенский заявили, напротив, что объявление нового царя разнуздает революционные страсти и повергнет Россию в страшный кризис; они приходили к выводу, что вопрос о монархии должен быть оставлен открытым до созыва Учредительного собрания, которое самостоятельно решит его. Тезис этот защищался с такой силой и упорством, в особенности Керенским, что все присутствующие, кроме Гучкова и Милюкова, приняли его. С полным самоотвержением великий князь сам согласился с ним.

Гучков сделал тогда последнее усилие. Обращаясь лично к великому князю, взывая к его патриотизму и мужеству, он стал ему доказывать необходимость немедленно явить русскому народу живой образ народного вождя:

— Если вы боитесь, ваше высочество, немедленно возложить на себя бремя императорской короны, примите, по крайней мере, верховную власть в качестве «Регента империи на время, пока не занят трон», или, что было бы еще более прекрасным, титулом в качестве «Прожектора народа», как назывался Кромвель. В то же время вы могли бы дать народу торжественное обязательство сдать власть Учредительному собранию, как только кончится война.

Эта прекрасная мысль, которая могла еще все спасти, вызвала у Керенского припадок бешенства, град ругательств и угроз, которые привели в ужас всех присутствовавших.

Среди этого всеобщего смятения великий князь встал и объявил, что ему нужно несколько мгновений подумать одному, и направился в соседнюю комнату. Но Керенский одним прыжком бросился к нему, как бы для того, чтобы перерезать ему дорогу:

— Обещайте мне, ваше высочество, не советовать с вашей супругой.

Он тотчас подумал о честолюбивой графине Брасовой<sup>3</sup>, имеющей безграничное влияние на мужа. Великий князь ответил, улыбаясь:

— Успокойтесь, Александр Федорович, моей супруги сейчас нет здесь; она осталась в Гатчине.

Через пять минут великий князь вернулся в салон. Очень спокойным голосом он объявил:

— Я решил отречься.

Керенский, торжествуя закричал:

— Ваше высочество, вы — благороднейший из людей!

Среди остальных присутствовавших, напротив, наступило мрачное молчание; даже те, которые наиболее энергично настаивали на отречении, как князь Львов и Родзянко, казались удрученными только что совершившийся, непоправимым. Гучков облегчил свою совесть последним протестом:

— Господа, вы ведете Россию к гибели; я не последую за вами на этом гибельном пути.

После этого Некрасов, Набоков и барон Нольде редактировали акт временного и условного отречения. Михаил Александрович несколько раз вмешивался в их работу и каждый раз для того, чтобы лучше подчеркнуть, что его отказ от императорской короны находится в зависимости от позднейшего решения русского народа, предоставленного Учредительным собранием.

Наконец, он взял перо и подписал.

В продолжение всех этих долгих и тяжелых споров великий князь ни на мгновение не терял своего спокойствия и своего достоинства. До тех пор его соотечественники невысоко его ценили; его считали человеком слабого характера и ограниченного ума. В этот исторический момент он был трогателен по патриотизму, благородству и самоотвержению. Когда последние формальности были выполнены, делегаты Исполнительного комитета не могли удержаться, чтобы не засвидетельствовать ему, какое он оставлял в них симпатичное и почтительное воспоминание. Керенский пожелал выразить общее чувство лапидарной фразой, сорвавшейся с его губ в театральном порыве:

— Ваше высочество! Вы великодушно доверили нам священный сосуд вашей власти. Я клянусь вам, что мы передадим его Учредительному собранию, не пролив из него ни одной капли. <...>

*Среда, 4 апреля.*

Вчера министр юстиции Керенский отправился в Царское Село лично проконтролировать охрану бывших царя и царицы. Он нашел все в порядке. <...>

Керенский беседовал с императором. Именно он спросил его, правда ли, как утверждали немецкие газеты, что Вильгельм II<sup>4</sup> несколько раз советовал ему повести более либеральную политику.

— Как раз наоборот! — воскликнул император.

Беседа продолжалась в самом любезном тоне. Керенский, в конце концов, даже был очарован приветливостью, естественно, излучающейся из Николая II, и он несколько раз спохватывался, что называл его:

— Государь... <...>

*Вторник, 17 апреля.*

Министр юстиции Керенский завтракает в посольстве вместе с Кашеном<sup>5</sup>, Мутэ<sup>6</sup> и Лафоном<sup>7</sup>.

Керенский принял мое приглашение лишь с тем условием, чтобы он мог уйти, как только завтрак будет кончен, потому что он должен в два часа отправиться в Совет. Важно, чтобы он вошел в контакт с моими тремя депутатами.

Разговор тотчас заходит о войне. Керенский излагает то, что составляет сущность его разногласия с Милюковым, а именно: союзники должны пересмотреть их программу мира, чтобы приноровить ее к концепции русской демократии. Идеи, которые он развивает

для обоснования своего тезиса, идеи «трудовой» партии, которую он представлял в Думе и которая является по преимуществу партией крестьян, партией, девиз которой: Земля и Воля. С указанной оговоркой он энергично высказывается за необходимость продолжать борьбу с немецким милитаризмом.

Мы его слушаем, не слишком ему возражая. Я, впрочем, догадываюсь, что в глубине души все мои гости-социалисты согласны с ним. Что касается меня, то, не зная еще, какую позицию поручено занять Альберу Тома по отношению к русскому социализму, я соблюдаю осторожность.

Едва подали кофе, как Керенский поспешно отправляется в Совет, где апостол интернационального марксизма, знаменитый Ленин, прибывший из Швейцарии через Германию, совершит свое политическое возвращение. <...>

*Среда, 2 мая.*

Сегодня вечером в Михайловском театре организован «концерт-митинг»; сбор за места пойдет в пользу бывших политических заключенных. Присутствовали многие из министров; Милюков и Керенский будут говорить. Я сопровождаю Альбера Тома в большую ложу против сцены, бывшую императорскую.

После симфонической прелюдии Чайковского Милюков произносит речь, весь объятый трепетом патриотизма и энергии. Сверху до партера сочувственно аплодируют.

Его заменяет на сцене Кузнецова<sup>8</sup>. Замкнутая в своей трагической красоте, она начинает своим страстным, за душу хватающим голосом большую арию из «Тоски». Ей горячо аплодируют.

Не успела еще публика успокоиться, растрепанная, зловещая, дикая фигура высовывается из бенуарной ложи и неистово кричит:

— Я хочу говорить против войны, за мир!

Шум. Со всех сторон кричат:

— Кто ты?.. Откуда ты?.. Что ты делал до революции?

Он колеблется отвечать. Затем, скрестив на груди руки и как бы бросая вызов зале, он вдруг заявляет:

— Я вернулся из Сибири; я был на каторге.

— А!.. Ты политический преступник?

— Нет, я уголовный; но моя совесть чиста.

Этот ответ, достойный Достоевского, вызывает неистовый восторг.

— Ура! Ура!.. Говори! Говори!..

Он прыгает из бенуара. Его подхватывают, поднимают и через кресла оркестра несут на сцену.

Возле меня Альбер Тома вне себя от восторга. С сияющим лицом он хватается за руку и шепчет на ухо:

— Какое беспримерное величие! Какая великолепная красота!..

Каторжник принимается читать письма, полученные им с фронта и уверяющие, что немцы спят и видят, как бы побрататься с русскими товарищами. Он развивает свою мысль, но он говорит неумело, не находит слов. Зала скучает, становится шумной. В этот момент появляется Керенский. Его приветствуют, его умоляют говорить сейчас же.

Каторжник, которого больше не слушают, протестует. Несколько свистков дают ему понять, что он злоупотребляет терпением публики, оставаясь на сцене. Он делает оскорбительный жест и исчезает за кулисами.

Но до Керенского какой-то тенор исполняет несколько популярных мелодий из Глазунова. Так как у него очаровательный голос и очень тонкая дикция, публика требует исполнения еще трех романсов.

Но вот на сцене Керенский; он еще бледнее обыкновенного; он кажется измученным усталостью. Он немногими словами опровергает аргументацию каторжника его же доводами. Но как будто другие мысли проходили у него в голове, и он неожиданно формулирует следующее странное заключение:

— Если мне не хотят верить и следовать за мной, я откажусь от власти. Никогда не употреблю силы, чтобы навязать мои убеждения... Когда какая-нибудь страна хочет броситься в пропасть, никакая сила человеческая не может помешать ей, и тем, кто находится у власти, остается одно: уйти...

В то время, как он с разочарованным видом уходит со сцены, я думаю о его странной теории и мне хочется ему ответить: «Когда какая-нибудь страна хочет броситься в пропасть, долг ее правителей не уходить, а помешать этому, хотя бы рискуя жизнью». <...>

*Среда, 9 мая.*

<...> Я признаю, впрочем, что молодой трибун Совета необыкновенно красноречив. Его речи, даже самые импровизированные, замечательны богатством языка, движением идей, ритмом фраз, шпротой периодов, лиризмом метафор, блестящим бряцаньем слов. И какое разнообразие тона! Какая гибкость позы и выражения! Он по очереди надменен и прост, льстив и запальчив, повелителен и ласков, сердечен и саркастичен, насмешлив и вдохновенен, ясен и мрачен, тривиален и торжественен. Он играет на всех струнах; его виртуозность располагает всеми силами и всеми ухищрениями.

Простое чтение его речей не дает никакого представления о его красноречии, ибо его физическая личность, может быть, самый существенный элемент чарующего действия его на толпу. Надо пойти его послушать на одном из этих народных митингов, на которых он выступает каждую ночь, как некогда Робеспьер у якобинцев. Ничто не поражает так, как его появление на трибуне с его бледным, лихорадочным, истерическим, изможденным лицом. Взгляд его — то притаившийся, убегающий, почти неуловимый за полузакрытыми веками, то острый, вызывающий, молниеносный. Те же контрасты в голосе, который — обычно глухой и хриплый — обладает неожиданными переходами, великолепными по своей пронзительности и звучности. Наконец, временами таинственное вдохновение, пророческое или апокалиптическое, преобразует оратора и излучается из него магнитическими токами. Пламенное напряженное лицо, неуверенность или порывистость его слов, скачки его мысли, сомнабулическая медленность его жестов, его остановившийся взгляд, судороги его губ, его торчащие волосы делают его похожим на монмана или галлюцинирующего. Трепет пробегает тогда по аудитории. Всякие перерывы прекращаются; всякое сопротивление исчезает, все индивидуальные воли растворяются; все собрание охвачено каким-то гипнозом.

Но что за этим театральным красноречием, за этими подвигами трибуны и эстрады? — Ничего, кроме утопии, комедиантства и самовлюбленности! <...>

*Понедельник, 14 мая.*

Военный министр Гучков подал в отставку, объявив себя бес- сильным изменить условия, в которых осуществляется власть, — «условия, угрожающие роковыми последствиями для свободы, безопасности, самого существования России».

Генерал Гурко и генерал Брусиллов просят освободить их от командования.

Отставка Гучкова знаменует ни больше, ни меньше, как банкротство Временного правительства и русского либерализма. В скором времени Керенский будет неограниченным властелином России... в ожидании Ленина.

